



Моя сельская школа в 1864—1865 годах. (Из записок Н. С., помещицы села Б.)

Мы приехали из Петербурга в наше село Б., отпустив свою Лизу в самый день её свадьбы за границу. Петруша тоже готовился к отъезду на Кавказ, и страшное одиночество угрожало моему сердцу, в разлуке с детьми, которым с рождения была посвящена вся моя жизнь. Наконец и сын уехал, — наше огромное село и громадный дом в 36 комнат казались убийственно и грустными, и просторными... но что об этом и говорить? К тому же едва ли сумела бы я и передать, что происходило в моей душе. Сначала я втихомолку плакала, потом иногда сердилась — за что? на кого?.. сама не знаю. Но через некоторое время я пришла, однако, к благоразумному сознанию, что мне необходимо серьёзное занятие, которое могло бы меня отвлечь хотя на несколько часов в день от моих грустно блуждающих мыслей. Что же найти в таком роде в деревне? Рисовать я давно бросила: талант моей Лизы так занял меня, что, следя за ним ежедневно, ежечасно, я сама невольно отстала от живописи. Музыка, со всей моей прежней к ней страстью, перешла к сыну; ни сочинения музыкальные, ни рукоделья не удовлетворяли меня, а главное, не заглушали той тоски, которая, казалось, росла с каждым днём, и далеко не мирила меня с действительностью и уединением. Наконец, в одну благую ночь, когда мне не спалось, вдруг мне пришла мысль открыть школу для крестьянских детей, мальчиков и девочек, не менее как на 20 человек, с которыми бы я могла заниматься с необходимою при такого рода деле добросовестностью. Стала я обдумывать, обрабатывать эту мысль со всех сторон: она представляла много затруднений. Во-первых, в великолепном нашем Б... во время оно существовали школы, куда детей приводили из опасения наказания, вследствие чего и родители, и дети терпеть не могли такого рода учебных заведений. Во-вторых, к нам, хотя и к новым помещикам, но вся вотчина, по старой памяти, не имела ни малейшего доверия: к тому же нравственность крестьян в нашем селе вообще в весьма жалком положении. Не расскажешь, сколько было нам тяжёлого в Б.; после объявления нового положения это наводило на меня грусть, а может быть, и негодование. Скажу откровенно: это грубое население не вызывало из моего сердца бескорыстного желания быть ему полезным; я чувствовала, что для этого потребовалось бы самоотвержение, на которое, мне казалось, не достанет у меня и сил. Однако, при более спокойном размышлении, желание посвятить жизнь на что-нибудь дельное становилось с каждым днём яснее, боязнь занемочь от преследующей тоски, — всё это вместе настраивало меня к лучшему, мало-помалу я мысленно стала сглаживать все препятствия, стала яснее понимать, что именно в жалком, безнравственном состоянии наших крестьян и необходимо по силам освещать хотя детей благодатным лучом просвещения, что я между тем совершенно вольна в своих действиях, и потому могу закрыть школу, лишь только она делается мне в тягость.

Необходимо было устроить дело так, чтобы ученики у меня были, а чтобы с родителями я не имела никаких сношений. Для этого начала я расспрашивать то того, то другого, наконец

*Моя сельская школа в 1864—1865 годах. (Из записок Н. С., помещицы села Б.) // *Семейные вечера, старший возраст*. — 1866. — 15 сентября; 15 октября. — С. 517—533; 581—593.

*От редакции.

Предлагаемая статья была написана не для печати, но редакция надеется, что живой пример живой и неподкрашенной деятельности на пользу детского народного образования может благотворительно подействовать на многих читателей и читательниц нашего журнала и возбудить в них желание потрудиться на этом благородном и вполне христианском поприще. Во всём рассказанном почтенною помещицею села Б. нет ни единого слова вымышленного. В этом самом редакция нашла главнейшую прелесть и пользу рассказа, и, получив на то согласие от автора записок, передаёт их без малейших изменений.

с. 517

с. 518

напала на одного старого дворового человека, жившего у моего мужа егерем; при его большом семействе надежда пристроить своих детей в школу ему казалась истинным благодеянием; он мне говорил, что хотя за благодарность родителей нельзя ручаться, но что детей отдавать, вероятно, всё-таки будут. Тогда я смелее стала готовить себя самой к довольно трудному, как мне казалось, делу, особенно с крестьянскими детьми. Меня пугала их неопрятность, нечистота, их ругательства, эти кулаки, так проворно и беспрестанно направленные друг против друга: но какой-то внутренний голос шептал, что с любовью к делу я найду способ победить эти немаловажные неприятности. Перебирая в голове все подробности, я сама себе говорила, что живу в деревне одна, что гостей не принимаю, что наряды давно для меня не существуют, что комнат у нас много и таких удобных, и высоких... как же школы не устроить? Вот я и решилась: позвала Луку, то есть егеря, и велела ему поразведать в селе, кто желает посылать детей учиться грамоте; я рассчитывала, что у меня в начале не будет их более пяти или шести человек, и тогда мне легко будет с ними справиться, помаленьку приучая самую себя к большому числу учеников. Лука возвратился и, к крайнему моему удивлению, принёс список 15-ти детям, из которых было пять девочек, желавших учиться грамоте; меня это и порадовало, и озаботило: как я буду учить их одна? — думала я, с чего начну, чтобы все они не скушали ученьем, чтобы не было ссор, шалостей и неудовольствий? Но чувствуя, что горячо примусь за школу, я твёрдо надеялась, что она пойдёт... Ничто так не помогает во всяком деле, как искренняя к нему любовь, она одна лучше всего другого советует, она же и силы, и духу придаёт. Начала я с того, что взяла бристольской бумаги, нарезала из неё довольно большие карточки, написала на них очень крупную азбуку; потом написала несколько прописей, в которых старалась помещать слова наиболее употребительные, самые понятные по своей простоте, потом, склеив три листа бумаги, разграфила их и точно так же крупно написала цифры, — запаслась 10-ю грифельными досками, чернильницами, несколькими необходимыми книжками, деревянными столами и скамейками, а возле комнаты, назначенной для учебной, велела поставить рукомойник; тут же положили мыло, полотенца и гребёнку. Всё было приготовлено как следует, оставалось назначить день для открытия школы. Чувствуя в себе необходимую твёрдость характера, я всё-таки сознавала, что с 15-ю крестьянскими детьми справляться трудненько; наказывать же я совсем не способна. Я знала, что с самых ранних лет эти дети питали к помещику недобрые чувства, значит, на хорошее расположение их ко мне я рассчитывать ещё не могла; нас даже и по имени едва знали в нашем Б. Как муж, так и я никогда в село и не показывались: так грубы были мужики в начале объявленного положения, именно в то время, когда нам пришлось переехать в Б. на житьё. По моему воззрению, необходимо было подействовать на детей хорошей и даже богатой обстановкой их барыни и учительши; вот как я приступила к открытию школы. Позвала опять моего доброго советчика Луку, дала ему крупно написанное письмо и велела прочесть его в тех домах, откуда должны были прийти дети. Письмо было такого содержания:

с. 519

«Святая обязанность каждого — приучать детей с малолетства к труду и занятиям, а так как мною замечено, что празднующихся ребят, даже довольно больших, много, то я и открываю школу, где буду учить сама и девочек, и мальчиков грамоте и работам, с уговором, чтобы дети меня всегда слушались, а родители их не баловали. Дети должны ходить в школу ежедневно, от 10 до 12 часов утром и от 2 до 4-х после своего обеда. Девочки могут оставаться и более для рукоделья.

Ежели кто из детей не придёт в школу два дня сряду, из лени, но не по болезни, того из школы исключают. Если же ребёнок нужен для домашних работ, то мать или отец обязаны придти накануне сказать, на сколько дней он необходим. Если узнается, что тут был обман и ребёнка оставили дома из баловства, то и тогда его исключают из школы.

Денег за ученье, за бумагу или карандаши и прочее платить не надо, дети всё будут получать от школы.

Открывается школа в воскресенье, 15-го февраля 1864 года.

Н. С.»

Внизу письма все расписались, что читали и согласны; тогда я пригласила нашего священника прийти к нам, именно в воскресенье, отслужить после обедни молебен, а жену нашего управляющего попросила собрать детей, вымыть, причесать, расставив их попарно, и ввести в наши комнаты. В гостиной стол был накрыт для духовенства и для нас. В учебной зале, где на стенах висели азбуки, прописи и цифры, столы также были накрыты; на них стояли стаканы, кринка молока и прекрасные пирожки. Учебная была от гостиной довольно далеко, ребятам надо было пройти церемонной поступью множество комнат, на которые они смотрели не без удивления; наконец дверь перед ними открыли настежь и они нас увидели, чинно сидящих на диване в обществе священника и диакона. Я тотчас встала, дети поклонились и мы все

пошли в большую залу, где батюшка приступил к служению молебна, — ребятишек выстроили в линию: на одном конце стояла я, на другом жена управляющего, а за нами толпились их родители, с любопытством глядя на всё происходившее. Когда священник прочитал Евангелие, я всех детей подвела к нему по очереди; потом, по окончании молебна, все приложились ко кресту и батюшка экспромтом сказал коротенькую, но очень милую и простосердечную речь, в которой, разумеется, советовал трудиться на общую радость. На ребятишек было мило смотреть: глазёнки их, быстро бегая, оглядывали всё, что их окружало; они видимо старались держать себя прилично; часто устремляли на меня боязливые свои взоры, потому что им, верно, натвердили по-своему, что такое барыня и грамота! После службы их отвели в школу завтракать, а мы с духовенством отправились завтракать в гостиную. Потом я уже пошла к детям в учебную, показала им всё, что для них было приготовлено, и объявила, что уроки начинаются с завтрашнего же утра, что я никого не буду наказывать, а за леность, ложь и вообще за дурное поведение тотчас выключу из школы; я повторяла, что не привыкла ни к нечистоте, ни к дурному запаху, и потому требую, чтобы они за собой наблюдали как можно строже, прочитала им приличное, но кроткое наставление. Одним словом, я старалась и, кажется, успела отлично разыграть мою роль: во мне они все увидели такую *барыню*, какой ещё *здесь* в Б. никогда не видывали и с которой запанибрата им обходиться не приходилось. Все они скоро разошлись, и я осталась одна, чрезвычайно довольная, что пролетело несколько часов, для меня незаметных, и обещали равным быстрым образом пробегать ежедневно и вперёд.

с. 520

В понедельник, вместо 10 часов, все дети собрались в половине седьмого; я это предчувствовала и потому с вечера положила на столы разные книжки с картинками и сказала своей горничной, чтобы она передала им моё позволение, пока я ещё не выйду, заняться картинками. К 8-ми часам и я явилась в учебную, велела им только перекреститься и приступать к азбуке, то есть я сама длинной палочкой указывала на стене выставленное *А* и называла букву громко, а дети хором повторяли вслед за мною, стараясь это делать как можно дружнее; в час времени они выучили 6 букв твёрдо, вразбивку; тотчас было видно, который из них ещё не уверен, и тогда такого я заставляла повторять название букв отдельно от других; потом посадила я их всех за столы, раздала грифельные доски, линейки и приказала им выводить прямые линейки, что, конечно, им было не совсем легко. В таком роде занятия пошли у нас ежедневно, дети прилагали большое старание и сами удивлялись своим быстрым успехам; в пять дней азбуку знали *все* вразбивку, на досках писали палочки прямо и твёрдо и принимались даже за выделявание некоторых лёгких букв, что очень их занимало. После азбуки я тотчас же взяла крупно напечатанную книгу и стала учить их склады, стараясь подбирать слоги так, чтоб выходили слова, понятные им, например каша, сено, утка и прочие. Это чрезвычайно им нравилось и те, которые были посмелее, всякий раз, как поймут слово, так и разразятся весёлым смехом. Для чтения я брала детей всегда по двое за раз; в очень короткое время делалось заметным, что Ваня, например, соображает лучше Николки, который машинально повторяет слова за Ваней, — тогда я тотчас в пару Николке ставлю мальчика, который складывает ещё хуже его, и тем вынуждаю его думать или соображать.

Так пошло у нас и чтение, и писание в одно время; старший из всех детей был лет одиннадцати, а меньший семи; из них трое умели читать и писать, но читали нараспев каким-то глупым голосом, да ещё так, что сами решительно ничего не понимали и все слова оканчивали неправильно, писали они хотя и недурно, но круглым, некрасивым и неблагородным почерком, перо и тетради держали криво и косо. Очень небольшого труда стоило мне их к себе приучить: в короткое время они стали со мной обходиться совсем просто и натурально, а между тем в классе сидели все очень чинно, тихо и пристойно.

Дни сменялись днями, я незаметно проводила целые утра с ребятами, которых даже и обедать не могла выгнать из школы, а уроки шли всё лучше и лучше. Ручонки их далеко не такие слабые, как у наших изнеженных детей: писать железными перьями никогда не уставали и могли в одно утро, как ничего, написать до десяти страниц; но их понятия, в сравнении с нашими детьми, были зато гораздо тупее; слушать рассказ или чтение, как бы они занимательны ни были, они никак не могли, как будто не понимая, что говорят или читают, они слушали как-то бессмысленно, а может быть, и совсем не слушали. Мне очень было трудно приучить их к размышлению, они начинали уже писать прекрасно крупными буквами; прописи были для них самые удобопонятные, а всё же они списывали с них, как бы с картинок, не прилагая ни малейшего желания знать, что пишут.

с. 521

Это приводило меня в отчаяние, тем более что во всём прочем я была поражена: до чего способны и интересны были эти дети по своей прекрасной натуре! Не только я не видала

никогда ничего неучтывого в их обращении со мною, но даже когда они были грубы между собою, то достаточно было одного моего замечания или взгляда — и кулаки или бранные слова в ту же минуту забывались. Правда, что в летние месяцы они почти целый день вились около меня; после уроков мы отправлялись в сад или на террасу; им даже позволено было входить в наши комнаты и всё рассматривать; я им толковала, что могла, и за то менее чем в три месяца эти 15 ребят стали совершенно отличаться от прочих детей села, и забавляли нас самих всякими милыми выходками.

Одним словом, школа шла великолепно; я могла только радоваться, что неустрашимо принялась за это дело, в котором не только не было для меня тягости, напротив, я начинала находить высокую и в высшей степени приятную обязанность — развивать и внушать добро этим милым ребятишкам.

Месяцев пять или шесть я занималась с ними одна, но слухи о школе стали распространяться; стали к нам приводить детей отовсюду; — но я не брала их, я чувствовала, что с большим числом учеников мне нужна помощь. Поэтому я объявила, что когда найду себе помощницу, то и буду принимать новых детей, а пока только записывала имена тех, которые мне более нравились и казались более способными.

Расходы по школе были, конечно, незначительны, но содержание помощницы и необходимые материалы с большим числом детей составляли уже порядочную сумму, которую я прибавлять не хотела, и потому решила не идти далее тридцати воспитанников. Я всегда могла бы иметь их более 100, и надо сознаться, что и родители, и дети доказывают этим чувствуемую ими потребность выйти из своего невежества и желание образования.

Детям нашего села легко добежать после урока домой, но у меня есть много ребят, живущих за восемь и за десять вёрст: их родители устроились с некоторыми из наших крестьян и отдают им детей своих на неделю. Я с ужасом узнала, что в течение этого времени бедняги едят один сухой хлеб, который им отпускают из дома на шесть дней: — не великая ли это с их стороны жертва? Видеть, что хозяева едят и щи и кашу ежедневно, а самим довольствоваться сухоядением! Несмотря на это, я и в субботу их от себя выживаю с трудом: вьются себе около нас, да и только, а уж учатся все с такой охотой, что кто их ни видит, верить не хочет, чтоб они могли менее чем в год времени — читать порядочно, писать на одной линейке очень хорошо; при диктовке многие из них на целой странице не сделают трёх или четырёх ошибок, знают твёрдо таблицу умножения и даже умеют написать очень порядочные сочинения.

с. 522

Маленькие делают сложение, вычитание и умножение. Со старшими занимается мой муж и — право, иногда задаёт он им такие трудные задачи, что сам удивляется, как они их решают. Когда, по моему соображению, они были несколько к тому подготовлены, то я пригласила нашего диакона начать уроки закона божия; дала ему маленькую инструкцию, как учить, чтобы они не твердили молитвы в *долбяшку*, и по субботам у нас класс один, то есть закона божия, после чего ребятишки расходятся по домам.

Я всегда замечала, что всякое доброе дело, предпринятое и ведённое именно, как я сказала выше, с любовью, всегда с помощью Божиею увенчивается успехом, и в моей школе моё замечание подтверждается с каждым днём. Я бы одна её вести не могла — мне нужна была помощница, я стала об этом хлопотать: стала просить всех моих немногочисленных деревенских знакомых приискать честную и хорошую девушку или вдову, которая бы не за деньги, — я их дать не могла в большом размере, — но из любви к добродетели пожелала бы деятельно помогать мне в моей школе. Мне на это отвечали, что у нас в России таковую найти невозможно, — но я этому не верила, и не спеша продолжала толкаться во все двери. Они наконец открылись в доме одного чиновника соседнего города П... При очень большой семье содержание чиновника незначительно, поэтому поместить дочь в порядочный дом и на благое занятие ему показалось делом хорошим, и он с радостью мне привёз её. Елизавета Васильевна Ц... девушка вполне достойная: она невзыскательна, потому что умна, горяча к добру по природе, вследствие чего и без высшего образования она может быть всегда и везде полезна; она ревностно принялась за свои занятия, сумела очень скоро приобрести любовь ребятишек и сама к ним искренно привязалась: таким образом, я в ней нашла именно то, чего искала. Как же тут не видать помощи и милосердия Божия? Итак, в школе нашей теперь 30 человек детей. Мальчиками исключительно занимаюсь я сама, Елизавета Васильевна — десятью девочками, и дело у нас, как говорится, идёт как по маслу.

* * *

Теперь я буду описывать разные случаи из ежедневной жизни наших питомцев, которые не отличаются именно остроумием, но по природному уму чрезвычайно скоро поняли, как себя вести в таком доме, каков наш. Стоит попробовать и посадить кого хотите с 30 даже благовоспитанными детьми на целое утро; дайте этим детям полную свободу, как это в нашей школе, и тут я уверена, многим покажется, что такое общество может и утомить, и наскучить. Наши же дети так блаженны, что никто их не бьёт, не ругает, что не только мне не приходится их за что-нибудь наказывать, но одного моего взгляда совершенно достаточно, чтобы они во всём меня слушались. Меня, главное, удивляет утончённая сметливость, а иногда и чувствительность их, при этой грубой оболочке. Чем более изучаю я их, тем более убеждаюсь, что в характере русского народа есть чрезвычайно высокие черты, на основании которых можно ему предсказывать великую будущность, если только его не испортят какие-нибудь несчастные обстоятельства или ложно направленное просвещение.

В понедельник утром я раз вхожу в классную, вижу: стоит баба и держит на тарелочке яйца, прикрытые сложенным на лицо кружевами полотенцем — это была мать одного из мальчиков, которая пришла благодарить за сына и принесла на поклон гостинец, от которого мне всегда очень трудно отделаться. Выражениям благодарности не было конца. «Да как же ты, матушка, сама себя трудишь, — говорила она мне, — стоят ли они, дураки ещё эдакие! Ты уж, говорят, больно к ним ласкова, — не балуй, матушка, а уж я тебя просить буду, коли твоей милости что не пондравится, ты моего Олёшку-то разложи на скамейку да и выпори, знаешь, по-своему». Я засмеялась такому милому позволению, а Алёшка вспыхнул, да говорит с таким гордым видом, что я сама удивилась: «Станет наша барыня об нас свои ручки-то марать — как не так, — что ты, матушка!»

* * *

Я была очень занята уроком, но заметила, что один из моих учеников вышел в девичью и тотчас же возвратился: моя горничная вошла за ним следом и спросила меня, что мне нужно? «Я тебя не звала», — отвечала я ей. Мальчик покраснел. «Это ты её позвал?» — спросила я. «Да-с, — отвечал он, — у вас волосы...» и запнулся. Вышло на проверку, что моя сетка свалилась, волосы немного растрепались, а я в жару преподавания этого и не замечала; мальчик же, увидав беспорядок в моей причёске, не решился мне это сказать сам, а послал горничную. Можно ли предположить такое внимание в крестьянском мальчике?

* * *

Погода была чудесная. Я сидела у себя в угловой гостиной, дверь на террасу была открыта, и вижу я, что идёт ко мне баба, держа за руку маленькую девочку лет четырёх, а один из учеников школы, её сын, шёл с ними рядом. Лишь только женщина меня увидала, как стала кланяться и благодарить за сына и заявляла свою готовность служить мне в самых забавных выражениях. Девочка была прехорошенькая; зашучивая с нею, я заметила, что у ней сбоку привешен мешочек из разноцветных лоскутков и в нём положено что-то такое, от чего он совсем раздулся. «Чем ты так набила свой кошелёк?» — говорю я девочке. «Брат что-то сунул, я и не видала», — сказала мать; мальчик весь вспыхнул. Тогда я самым спокойным и ласковым голосом говорю ему: «Вынь, покажи мне, что ты ей подарил». Мальчик совсем растерялся, но, однако, вытащил из мешочка каменную ступочку, которую употребляют в аптеке. «Что это, Степан, — говорю я ему, — где ты это взял, говори мне правду, пожалуйста, не лги, ты знаешь, что ничем меня более рассердить нельзя, скажи просто — откуда ты это добыл?» Мальчик оробел ещё более, особенно когда мать начала по-своему посыпать на него тьму нежных обещаний. «Оставь его, не говори ни слова, — сказала я ей строго, — он меня не обманет, мне все говорят всегда правду, и Степан не будет хуже других, эта вещь не важная, я только хочу, чтобы он сам мне сказал, где взял эту ступочку».

«В вашем доме, который я не помню, как зовут», — проговорил сквозь слёзы мальчик. «В аптеке?» — спросила я. «Да-с», — отвечал он; при этих словах мать так вцепилась ему в волосы и толкнула так нежно, что он очутился у меня в ногах.

«Оставь его, — крикнула я с нетерпением, — а ты, Степан, встань». Мальчик рыдал так чистосердечно, что мне и бранить его не приходилось, тогда я ласковыми словами сказала ему, какие ужасные последствия ожидают того, кто не воздержится с детства и приучится потихоньку воровать чужие вещи. В ту минуту, как я делала ему настоящее материнское наставление, другой мальчик, которого я на террасе и не заметила, тоже весь в слезах вбежал в гостиную и бросился к моим ногам. «И я виноват, и я виноват, вот что я взял», — говорил он,

с. 524

подавая мне маленькую пустую коробочку из-под пилюль. И его я тотчас подняла, и велела им обоим рассказать мне в подробности, как всё это случилось. Тогда они мне признались, что аптека была отперта, что они вошли, начали осматривать пустые шкафы, рылись по ящикам и в углу на одной полке нашли ступочку, коробочку и сунули их себе в карман. Надо было видеть, до чего им было совестно всё это мне рассказывать — и как я безжалостно требовала самые малейшие подробности! Эта была первая вина в нашей школе: мне хотелось, чтобы впечатление их собственного раскаяния было как можно глубже, и потому я продолжала их допрашивать и толковать, от чего именно всё это было дурно; когда, по моему уразумению, я их достаточно усостила, то велела им утаённые вещи положить ко мне на полочку и позволила уйти домой, обещая, что и у меня в душе и в памяти, ради их раскаяния, ничего против них не останется, и что с этой минуты я их люблю по-прежнему.

* * *

Вхожу я раз в школу и вижу ссору, слышу, что один из мальчиков говорит другому: «Вот скажу барыне, непременно скажу». «Что? говори, я тут», — сказала я Анфимке, — он хотя немного и оробел неожиданного моего появления, однако тотчас же продолжал: «Алёшка Санатов говорил нехорошие слова, я ему говорю — перестань, а он опять, я ему говорю — как ты смеешь здесь пустяки такие болтать, да и барыня не велит, а он говорит — очень я нашей барыни боюсь, как не так!» «Так ты меня не боишься?» — спросила я Алёшку очень серьёзно; — он сидел, тотчас же встал и покраснел как рак. «Как мне это жаль! — продолжала я, — я думала, что все мои дети с умом и с сердцем, какие бывают у хороших людей, что они не то, что какая-нибудь глупая тварь, которая понимает только палку и из страха побоев слушается хозяина, а выходит, что и Алёшка без палки или наказания дела не понимает; — это очень жаль! Неужели оттого, что я никого не бью, он меня и в самом деле не боится? Меня бояться непременно надо, я этого хочу, и требую, потому что я вас учу не одной грамоте, а добру, уму-разуму, призывая Бога в помощь во всех моих словах; как же вам меня не уважать и не бояться? Жаль, жаль, — ты меня, Алёшка, очень огорчил, и я тебя за то должна наказать, позовите мне его мать». Пошли за матерью на село, она пришла; — я всех родителей очень не жалую, потому что они решительно во всём бывают самым дурным примером для детей, и моего спокойствия и ласкового обращения совсем не понимают, и только умеют или некстати защищать виноватых, или их бить, что для них вещь самая обыкновенная. Когда вошла мать, то я ей объяснила, в чём дело, и говорю: «Бьют только собак, да и тех бить не должно, а уж мальчика, который у меня в школе, я ни за что не позволю тронуть пальцем, и потому ты, как мать, придумай сама, как наказать Алёшку, да и сделай это дома у себя». Мне очень хотелось знать, что в этом случае сделают мать и отец и как накажут. На другой день мальчик пришёл в школу. — «Был ты наказан?» — спрашиваю его. — «Был-с», — отвечал он. — «А как?» — «Поставили на колена, пока сами обедали, и ничего мне не дали». Дело, — подумала я, и родителям, я надеюсь, был урок с пользой!

* * *

с. 525

У нас в саду в двух аллеях поставлены были алебастровые фигуры в рост человеческий. Ребятишки чрезвычайно ими потешаются, иногда их целуют, иногда дают им в руки какие-нибудь ветки или цветы, так что я вынуждена была запретить им их трогать. Идём раз с мужем в сад и видим одну из статуй в конце аллеи, повёрнутою к нам спиной. «Это, верно, твои ребятишки сделали?» — говорит мне муж. — «Не думаю, — отвечала я, — но, конечно, ручаться не могу». Дети только что расходились из школы, я их тотчас позвала и, указывая на повёрнутую статую, спросила: «Вы, дети, это сделали?» — «Нет-с, нет-с», — был общий ответ. — «Однако, кроме вас, никто в сад не входит?» — «Не знаем-с, мы не видали-с, мы через сад сегодня и не проходили», — посыпалось в один голос. — «Однако кто же мог это сделать? Я здоров не люблю, вы это знаете (говорю им довольно грозно), вина небольшая, пошалили, вот и всё, а если лжёте, то грешите, и я лжи в вас вынести не могу, — говорите же сейчас правду». — «Не знаем, мы не знаем», — повторяли они. — «Ну, слушайте, ребятишки, если это не вы, то как хотите, а найдите мне виноватого, вас много, вы разузнаете легко и до правды доберётесь, а этим и меня успокоите, а то я всё как-то не уверена, всё боюсь, что кто-нибудь из вас пошалил — да и меня обманывает». Сказав это, мы с мужем возвратились домой, а ребятишки стали громко рассуждать промеж собой, и вскоре все из сада исчезли. Не прошло десяти минут, слышу я шум босенок их ножек по паркету, бегут с одной стороны одни, с другой другие; — «Нашли-с, нашли-с, кто повернул куклу! — почти в один голос провозгласили они с радостной

улыбкой, — это девки из села приходили рано утром и повернули куклу». — «С чего вы это взяли, быть не может: зачем девкам приходиться в сад?» — «Да-с, точно девки-с это сделали, ваш повар сам нам сказывал, что даже сам видел, и обещал вам пожаловаться». Повара позвали; оказалась совершенная правда, зато надо было видеть общую радость детей и как счастливы они были, что оправдались!

* * *

Я должна была выехать из Б. месяца на два. Ребята мои были в ужасном горе, когда накануне собрали все тетради, которые я им раздала по рукам, дала чернил, перьев, прописи, некоторые книжки и велела без себя продолжать заниматься, сколько могут, одним; — наконец, перецеловав всех их по очереди, я с ними простилась; — у многих из них текли крупные слёзы. «Мы ещё вас завтра провожать будем», — говорили все дети. И действительно, узнав, что мы имели намерение выехать рано, они все собрались в пять часов утра у нас на террасе, все ждали, что я к ним выйду, а так как дверь не открывалась и шторы на окнах были опущены, то они и заснули все тут же на террасе богатырским сном, как, кажется, способны спать только крестьянские ребятишки. Я равнодушно не могла видеть эту картину: тёплое солнце пригревало эту кучу мальчиков, небрежно привалившихся один к другому; у каждого был в руках какой-нибудь гостинец, кто держал репу, кто ватрушку, иной два яйца в платочке, потому что и два яйца для него уже нечто значительное, не то что для наших детей. Ему, бедняге, и в праздник не всегда попадёт два яичка, так немудрено, что он так ими и дорожит. Им кажется, что и для нас два яйца должны быть всё-таки своего рода лакомством, и потому мне очень трудно отказываться от их гостинцев, да и они этим чистосердечно обижаются.

«Что вы такую рань забрались?» — спрашивала я их. — «Боялись вас проглядеть: мы, ваше превосходительство, до самого Исакова провожать будем», — кричали они все в один голос. — «Хорошо, хорошо», — говорила я им, принимая это за шутку, — потому что Исаково от нас в трёх верстах. Мы замедлили выехать до самых четырёх часов, даже и позже, а не один из них не ушёл с террасы ни на минуту, и с голодным желудком всё-таки она выжидали нашего отъезда, как я их ни посылала домой обедать. Наконец, после прощаний со слезами и очень искренних проводов, мы сели в карету; вся эта кучка побежала за нами, я им из окна погрозила. — «Будем провожать до Исакова!» — кричали они весело; тогда пришлось грозно на них прикрикнуть, и тогда только по очереди один после другого они отставали от экипажа. Говоря со мною, дети часто величают меня титулом *вашего превосходительства*, я не знаю, кто их этому выучил, только это презабавно, особенно в самых маленьких; и хотя я вообще не жалую такого рода громкое заявление бессознательного почтения, но оставляю его без замечания, я нахожу, что, может быть, бесполезно приучать детей к вежливости; впрочем, гораздо чаще они меня зовут просто — *наша барыня*.

* * *

Парк у нас большой. Ребята часто гуляют со мною, иногда я уйду ранее их, и тогда стоит мне только *аукнуть*, чтобы они сбежались со всех сторон, как чуткие собачонки за зайцем, с шумом и криком: вон она, вон она! Потеха, да и только видеть и слышать тогда искреннюю их радость. Иногда я их заставляю петь, что, впрочем, идёт ещё довольно дурно, хотя и есть между ними отлично талантливые мальчуганы; иногда мы примемся рассуждать, и я толкую им их невежественные идеи в самом смешном или забавном виде. Это крайне их потешает. Случается, что начнутся рассказы, кто в чём грешен, кто разоряет гнёзда, кто мучит животное, и один наперерыв перед другим рассказывают они свои шалости, за которые я, разумеется, всегда им выговариваю. «Вот между нас есть один очень жалостливый, — рассказывали мне ребятишки, мы так его и прозываем: никогда и никакую, даже самую малую тварь не изведёт». И точно, между всеми ими я заметила сама одного особенной чувствительности мальчика. Его зовут Анфим, собой он не очень красив, худенький и бледный, но никогда ещё мне не случилось сделать ему ни малейшего замечания, и учится он очень прилежно.

Он почти всегда какой-то грустный или задумчивый, в детские игры мало вмешивается и мне всегда услуживает, где может. Гуляя раз с ними по лесу, я им указала на срубленную иву. — «Есть у кого из вас ножик?» — спросила я. — «У меня есть», — отвечает Анфим. — «Итак, срежьте себе по палочке, посмотрите, какие славные пряменькие хлыстики выйдут». Тотчас же бросились они на иву и каждый выбрал себе по хлысту. Анфим своим ножом стал вырезать на своём хлысте разные узоры. «Что ты копаешься? — говорил ему Андрияша, — это и дома сделаешь, дай мне ножик, пожалуйста». — «А кто тебе сказал, что мой хлыст до дому

дойдёт?» — с некоторою скромностью сказал Анфим и продолжал работать, но лишь окончил, как поднёс мне выделанную палочку и говорит: «У вас в руках такая нехорошая, нате эту». И точно, у меня была сухая дрянная ветка, которою я копошилась в траве. — «Вишь, как хорошо придумал», — подхватили все дети и стали подавать наперерыв свои хлыстики, но, к удовольствию Анфимки, я удержала только его. А отличаю я его перед другими только тем, что показываю ему некоторое доверие, то есть даю ему прятать ключ от шкафа в учебной, ножик, карандаши, даже иногда деньги.

с. 527

Как-то раз сидим мы с мужем на террасе и видим: несут ребяташки тайком в шапках карасей. — «Что это, ребята, — говорит муж довольно строго, — просили у меня позволения купаться в пруду, а на место того и рыбу ловили, как вам это не стыдно!» — Они все стояли, переполошённые от неожиданного замечания. «Подите, всю рыбу отдайте на кухню, и впредь этого прошу не делать». Тотчас же они, разумеется, повинились и понесли рыбу в кухню. Мне было досадно, что и Анфим был между ними, и я его слегка пристыдила, и дня два была с ним не так ласкова, то есть говорила с ним менее обыкновенного, прятать ему ничего не давала, одним словом — это был во мне такой слабый оттенок неудовольствия, что я никак не могла себе представить, что он поймёт его и горячо примет к сердцу. Спустя два дня я обо всём и забыла, вижу — Анфимка очень бледен. — «И ты не болен ли?» — спрашиваю я; у него навернулись слёзы. — «Мало спал», — отвечал он. — «От чего?» — «Да и сам не знаю, так, не спалось». — «Возьми книжку да ступай читать, садись-ка возле меня», — говорю я ласково. В эту минуту входит его мать с большой ватрушкой. «Уж ты не прогневалась ли на него, матушка? — говорит она мне, — что-то он больно скучает и ничего не говорит, сегодня в пятом часу заснул, всё вздыхал, я уж иду скотину выгонять, а он мне говорит: матушка, коли я засну, ты разбуди, чтоб я в школу не опоздал; мне из дома-то уйти надо было бесприменно, гляжу: он спит крепко, мне будить-то жаль стало, я ватрушку положила около него, чтобы поел, как проснётся, да и ушла, — прихожу — а уж его и след простыл, а ватрушка цела, знать, и не покушавши ушёл». — «Что ж ты не поел?» — спросила я Анфимку. Крупные слёзы потекли ручьём из его глаз. — «Боялся опоздать», — проговорил он с трудом. — «Поди же, поди домой, Анфимка, — сказала я ему очень ласково, — ты спал мало, да и не ел, так от того и слёзы у тебя текут, как у девчонки, усни хорошенько да молодцом и приходи ко второму уроку». Но как я его ни уговаривала идти с матерью домой, он ни за что не пошёл, сел на лестнице в передней, поел своей ватрушки и воротился в класс, где, уж конечно, более и разговора о прошедшем не было. Как не подивиться этой утончённой чувствительности в простом крестьянском мальчике? В сию минуту бедняга Анфимка болен очень опасно; вот уже несколько дней как лежит в горячке; я сама вижу, что мало надежды на его выздоровление, и потому сегодня мы его приобщали.

Я строго приказываю детям быть жалостливыми к страждущим и отнюдь не позволять себе насмешек и преследований над слабоумными или калеками, какие всегда есть в деревнях. Накануне моего отъезда из Б. ребята мне рассказывают, что шёл какой-то слепой по селу, — слышит он говор ребят и просит их указать, куда идёт дорога. — «Бери вправо, вправо», — закричали некоторые шалуны; а вправо была канавка. Бедный старик взял вправо да и покатился в канаву при разразившемся смехе всей глупой компании. Анфимка шёл по другой стороне, тотчас подбежал к старику, помог ему выкарабкаться из неё и провёл слепого куда следует. Я слегка побранила мальчишек, но сама была так занята серьёзным домашним делом в минуту этого рассказа, что не довольно обратила на него внимания, да так и уехала.

Из Петербурга пишу я помощнице своей, чтобы она школе кланялась, а Анфимке написала слова два особо и приказала мне отвечать. Вот содержание его письма:

«Ваше превосходительство, Н. Ф.

Меня Елизавета Васильевна выбрала к вам писать, не знаю, почему мне такое счастье, что вы ко мне писали и мне позволили вам писать.

Мы все жалеем, что ваша матушка так больна, ходим в церковь и молим о её выздоровлении; быть может, Бог услышит наши молитвы и вас успокоит. В школе у нас всё хорошо, и мы учимся прилежно, чтоб вы нас похвалили, учим молитвы; мальчики все к нам в школу просят. Не знаем, когда мы вас увидим; все ученики целуют вашу руку, и я, ученик ваш Анфим».

с. 528

В ответ на его письмо я написала помощнице, чтобы она сказала ребятам, что выбор писать мне письмо пал на Анфима потому, что он помог тогда слепенькому старику, а что ребят следовало бы за эту глупую шалость важно выбрать, да этого я не сделала только оттого, что мне некогда было.

При моём возвращении в Б. радость детей была неописанная: они уже по несколько раз выбегали версты за две ко мне навстречу. И точно, видно было по их откровенным рожицам, что они очень довольны.

— Как-то вы себя ведёте? — спрашиваю я их. — Ничего-с, кажется, Елизавета Васильевна нами довольна. — Не всеми, — перебили они, нехорошо, что есть такие, которые лазают через забор и воруют яблоки.

— Кто это делает, покажите, пожалуйста, — сказала я сколько возможно серьёзнее, и мне указали на Егорку, самого маленького из всех мальчиков.

— Что это, Егорка? Ты воруюешь мои яблоки? Я с тобой занимаюсь, хлопочу, чтоб вы во всём были всегда дети порядочные, честные, — а ты в благодарность таскаешь мои яблоки! Чем бы тебе чужих ребят унимать, ты вместе с ними через забор мой лазишь для такого гадкого и низкого дела?

Егорка решительно был уничтожен моими словами, другие же мальчишки стали мне поддакивать: вот тебе, Егорушка, и поделом! У мальчика были уж слёзы на глазах.

— Виноват-с, — шёпотом говорил он, — никогда не буду... не утерпел-с.

— А сколько натаскал?

— Полную пазуху-с.

— Пошёл, глупый мальчишка — стыдись; и вперёд, когда очень захочется яблоков, приходи ко мне, попроси прямо и просто, а не смей через забор лазить.

Тут пятеро из самых надёжных мальчиков предложили мне стеречь яблоки. «Больно ребята сельские пошаливают, — говорили они, — где садовнику углядеть! — бессовестные такие, да не маленькие... а большие... такой срам».

— Уж правда, что срам, из-за яблок срамиться и грех на совесть брать, ведь это то же воровство, что и всякое другое, — сказала я.

Позволила я им стеречь сад — и дети были очень довольны, устроили себе шалаш: то в нём посидят, то по саду ходят да перекликаются: ну, сторожа как надо быть! Ночью встают, раза два с садовником прохаживаются, а ночи уже становились холодные, росы сильные; бегают себе босиком — и всё нипочём: крепкая натура помогала им даже наслаждаться этим удовольствием, они сознавались себе, что *дело делают*, — к тому же яблоков давали им вдоволь, и в два дня они все сорта знали и на вкус, и на вид, одним словом, *мелким сторожам* было раздолье. — «Позвольте нам продавать яблоки, которые падают, — просили они меня, — больно много просят, мы и на яйца будем менять, и на деньги продавать», — говорили они убедительно и неотступно. — «Пожалуй, продавайте, — отвечала я, — только смотрите: вздору никакого не делать, я нарочно вам это позволяю, чтобы вы привыкали в своих руках иметь чужое добро и умели его сберегать больше своего собственного». Мальчишки остались очень довольны. Пошла и продажа как нельзя лучше; знали они счёт деньгам и яйцам, и всякий вечер приносили они и то, и другое. Только раз идёт ко мне вся эта компания, отдают деньги, а Анфимка говорит:

— Ваше превосходительство, у нас что-то нечисто, который нибудь сшалил — да не признаётся!

— Что такое?

— А вот что: в шалаше оставались Митька да Ванька, а мы пошли обедать, — деньги под соломой в горшочке тоже в шалаше лежали. А после обеда приходим, стали деньги проверять, семитки (то есть две копейки серебром) одной нет, да и нет как нет, так и не доискались!

— У! Какая гадость! — сказала я с отвращением, — что это, ребята? Как это может быть? Признавайся скорее, кого лукавый попутал — повинись, хоть этим вину убавь!

Стали разбирать, кто куда выходил, где был, а в покраже денег ни за что не сознался ни один.

После довольно долгих усовещаний я сказала им: подите, мне на вас и глядеть-то гадко — желание украсть чужие деньги, грех, а не сознаваться и не покаяться ещё всотеро увеличивает этот грех: я и не думала, что между вами есть такие дурные мальчишки, — подите, подите да потолкуйте промеж себя, может быть, и уговорите воришку повиниться. Они ушли, и видно мне было с террасы, как они, удаляясь по широкой дорожке, важно разбирали это дело, наконец остановились, собравшись в кучку, довольно долго с жаром говорили, и вот один из них, Митька, бегом бежит ко мне, прямо падает мне в ноги и подаёт семитку, весь в слезах.

Жаль мне было бедного мальчика: так видно было по его лицу, что это признание стоило ему большого усилия, — разумеется, за этим последовало серьёзное нравоучение и твёрдое обещание вперёд не решаться на нечистое дело. Действительно, Митька заметно поправляется

в поведении, с тех пор как он у нас в школе. К несчастью, его мать была воровка, так что очень трудно было его убедить, что воровать скверно и грешно, но теперь он решительно становится один из надёжнейших наших учеников.

* * *

Вчера у нас в школе была ужасная суматоха: я не на шутку на всех ребят рассердилась. Дети по обыкновению собрались на урок в восьмом часу. Когда им случается слишком разболтаться, то я звоню в колокольчик, который всегда стоит на моём столе, то есть около самых маленьких учеников, и всё тотчас же приходит в должный порядок. После первого урока все ученики расходились обедать, а мне понадобились старшие мальчики, в числе которых был и дежурный по школе, так что он из классной вышел прежде, чем прочие дети. Перед началом второго урока дежурный с тремя или четырьмя старшими мальчиками, с испуганной рожицей бежит ко мне в гостиную и держит в руках колокольчик. — «Кто-то его попортил и никак не сознаётся», — сказал он с огорчением, подавая мне колокольчик, внутренний шарик которого висел на вытянутой пружинке. — «Беда, конечно, не важная, колокольчик стоит грош, а как это вы не доищетесь, кто это сделал!» — сказала я с досадой и отправилась в школу, где уже мальчики в полном сборе прижали к стене двоих товарищей, вышедших из школы последними.

Те ужасно горячились и доказывали, что они к столу не подходили; один из них был Митька, а другой Ваня Яжлов, премилый ребёнок, который никогда ни в чём не бывал замечен; я взяла их в особую комнату и начала их допрашивать, усовещивала как могла, со всею возможною снисходительностью, чтобы они не робели: мальчишки приурадили оба в слёзы, но повторяли, что они решительно не виноваты.

с. 530

Наконец я возвратилась с ними в школу и громко объявила, что в этих двух мальчишках я уверена: Ваня никогда ни в чём не был замечен, а Митьке хотя и случалось раза два солгать, но он всегда тотчас же признавался в своей вине и потому я теперь ему верю, а так как тот, кто сшалил, — упорствует не сознаваться, и дети не умеют найти между собой дурного товарища, то я на школу сердита, больше их учить не хочу, и не приду к ним, пока правда не выйдет наружу, и с этим словом вышла из школы. Они были поражены моими словами: — начался между ними крик, споры, окружали и допрашивали то одного, то другого, срамили друг друга, — ничто не помогало. Наконец все горько принялись плакать. Вот выступает Егорка, тот самый, который некогда воровал у меня яблоки: «Знаете, что я хочу сделать, — объявляет он торжественно, — я пойду да и повинюсь, что будто это сделал я. Что в самом деле, за что мы все будем терпеть из-за одного дурака: барыня только правды требует, а он не хочет сознаться!» Но моя помощница, которая слышала все эти разговоры, этого сделать ему не позволила; Анфимка, да ещё два, три мальчика пришли ко мне в гостиную и хотели мне что-то говорить, но вдруг залились такими горячими слезами, что и я не вытерпела и сказала им, что в первую минуту я действительно так на них рассердилась, что учить их ни за что не хотела, но что, раздумав, мне самой стало жаль из-за одного виноватого лишать других того, что им полезно и даже необходимо, и что поэтому позволяю им по-прежнему в школе собираться завтра, но не обещала, что буду их учить сама.

Дети с горем стали расходиться: они не то что плакали, просто рыдали, кто сидя на лестнице, кто на дворе, кто идя по улице. К нам в эту минуту подъехал знакомый; он был так поражён этими слезами, что не хотел верить настоящей их причине.

Между нашими учениками есть один шалун, который тоже иногда подлыгал. На него пало подозрение; мальчишки об нём отзывались нехорошо, помощница моя тоже уверяла, что в моё отсутствие он был замечен в дурных шалостях, и общим голосом присудили его выключить. Я было сама уже на то подалась, но, однако, на другой день жаль мне стало его выгонять, именно потому, что он не совсем хороший был мальчик. Его зовут Николкой, уж конечно у него дома его вечно пьяный отец не научит его добру, не научит воздерживаться от дурных наклонностей — вот почему сегодня поутру я снова пошла в школу, где, разумеется, все меня ожидали с нетерпением, сперва прочитала им нотацию; наконец вызвала Николку и говорю ему: «Знаешь ли ты, Николка, что вчера мы почти решили тебя выключить, — ты один у меня в школе, которого я ещё не люблю, потому что ты всё делаешь как-то неладно, но мне хочется тебя ещё на время оставить в надежде, что ты исправишься и поймёшь, что мне колокольчика не жаль и что я сотню таких отдам с удовольствием, лишь бы у тебя была душа прямая да честная». Мальчик был в слезах и все ученики тоже. «По местам! — провозгласила я, — прошу учиться как следует, и чтобы разговоров больше об этом не было!» Все сели и я, по обыкновению, за стол, где сидят самые маленькие; один из них, только что

поступивший к нам, до сих пор не отличается особым умом; у него рожица преглупая, он пришёл уже учёный, то есть читать по-своему умеет, но, как и большая часть мальчиков, глупо учёных: ничего не понимает, даже досадно его слушать! Например, прочтёт он что-нибудь самое лёгкое, его спросишь: «что прочитал?» Звук слов остаётся у него ещё в ушах, он и повторит их тотчас, как машина, слово в слово. — «Да разве ты не понял?» — «Где ж мне ещё понять», — отвечает он самым тупым и медленным голосом. Сидит вяло, точно мешок какой-нибудь, и его прозвали ребята *мятюля*: прозвище это вполне по нём. Только что он сел возле меня, взял перо, чтобы писать, и вдруг его преакуратно положил, встал с своего места и тихим голосом, но совсем не сконфуженным, говорит: «Ваше превосходительство! Колокольчик-то, должно быть, я испортил!» Все встрепнулись. «Как так?» — «Вот видите, тут в столе щель: я колокольчик нечаянно уронил; а когда хотел его поставить на место, этот шарик в щёлочку-то и попал, я потянул, гляжу: что-то в нём вытянулось». — «Что ж ты молчал?» — «Я его поставил на место, да и думал, что как-нибудь оно опять навернётся». — «Да ведь ты слышал, что из-за колокольчика шла целая история?» — «Я думал — это об чём другом-с!» Все разразились смехом, удовольствие было общее, да и я была, признаюсь, очень довольна, а наш *мятюля* сел опять на своё место и, как ни в чём не бывало, принялся за своё писание; однако после урока насмешки на него посыпались со всех сторон, так что я даже нашла нужным приостановить их.

с. 531

27 марта 1865 г.

Распутица у нас ужасная, грязь по колени: но мне хотелось подышать воздухом, и я с мужем поехала прокатиться в санях. Добрая лошадь не без труда тащила нас по мокрой грязи, и мы очень не спеша ехали селом. Вот вижу я, маленький, пузатенький мальчишка в огромных, совсем не по росту сапогах, в плохой шубёнке и преурачной шапке, одним словом — как обыкновенно наряжаются наши деревенские ребятишки, глядя на нас, что-то стал нам кричать. Слово *барыня*, произнесённое ещё с трудом (так он был мал), однако до нас долетело довольно явственно. Мой муж приостановил лошадь. Мальчуган тогда стал переходить улицу, беспощадно шлёпал по лужам своими ножками и подошёл к саням. *Балиня, я хочу учиться*, сказал он мне: мы невольно засмеялись, ему было года три, не более, и я его никогда и не видала. — «Да ты чей сын?» — спросил его муж. — «Мамкин», — был ответ. — «Да в чьём доме живёшь?» — «В нашем». Более этого мы ничего добиться не могли, и то выговаривал он ещё очень дурно. Меня он чрезвычайно заинтересовал, я узнала, из какого он дома, и что всего удивительнее, так это то, что из этого дома ко мне ученики совсем не ходят. Теперь этот мальчишка иногда приходит ко мне посидеть и всегда меня смешит своим положительным характером: он говорит совсем не застенчиво и повторяет, что у нас ничего не боится и очень меня любит.

30 марта.

На днях был день моего рождения, оно пришлось в воскресенье, а так как я не люблю праздновать эти дни, то и помалчивала, надеясь, что никто кроме мужа этого не узнает; мы отправились к обедне, где, по обыкновению, увидала я всю свою школу, за исключением трёх мальчиков из дальних деревень. После обедни начался молебен, совсем какой-то особенный: некоторые молитвы были для нас новы. Священник, читая Евангелие, обратился исключительно ко мне, потом дал мне Евангелие поцеловать; — это меня тем более удивило, что я наверно знала, что о дне моего рожденья никто не знает. Лишь только возвратилась я домой, является вся моя школа меня поздравлять, и помощница мне рассказывает, что когда накануне, узнав от мужа моего о дне моего рождения, она сказала о том ребятишкам, сожалея, что они не успеют ничего мне приготовить, тогда один из них предложил отслужить заздравный молебен, и это было с радостью принято всем обществом; ребятишки сами побежали просить о том священника и заплатили ему, все сложившись по безделице. Сознаюсь, что мне было это крайне приятно.

* * *

«Ребятишки! хотите дров?» — спросила я на днях в своей школе после класса. — «Я хочу, и я, и я, и я», — отозвались отовсюду мне в ответ. — «Ну, так сегодня мы отправимся все в парк: барин позволил каждому нарубить себе саженьку, сложить только поаккуратнее и потом приехать за нею на лошади с кем-нибудь из родных; запаситесь топорами и после второго

с. 532

урока марш вместе со мною!» Восхищение было общее; во-первых, дрова всякому мужику нужны, во-вторых, самому рубить в лесу и ещё где же? в парке, при господах, с которыми им всегда весело: всё это приводило детей в восторг. Легче птиц слетали они домой после урока, и каждый, исключая самых маленьких, явился с топором в руках. Мы отправились, — муж мой указывал им деревья, которые можно было рубить, и работа закипела; весело было смотреть, как эти ещё маленькие руки ловко действовали топором. Мальчики тащили деревья по силам, обрубая ветви, которые тоже складывали очень аккуратно тут же. Они помогали друг другу и очень хорошо каждый знал свою саженку; не раз мы с мужем прятались за густые деревья присматривать, не возьмёт ли кто из них тайком большое полено, лежащее где-нибудь поблизости, тем более что им в саженки давали только мелкий лес. Нет, — все действовали совершенно добросовестно, и часа в три времени каждый нарубил себе столько дров, что одна телега увезти их зараз не могла. Уже становилось темно; дети должны были разойтись с тем, чтобы на другой день рано утром приехать кто с отцом, кто с матерью за своим добром. Так и было, но уже без нас; — вот поутру, когда все сошлись в школу, они мне рассказывают, что Рогунов явился в лес с дядей, стал забирать свои дрова и валить в телегу, вдруг видит, что дядя вытаскивает из чужой саженки большое толстое полено. «Это не моя сажень, — кричит ему Рогунов, мальчик десяти лет, — это Анфимкина, дядя, не тронь». Мужик, разумеется, не хотел слушать племянника, да ещё и ребёнка, и продолжал пользоваться отсутствием Анфимки. «Чужую не тронь, дядя, — продолжал просить мальчишка, — барыня не велела...» Но дядя решительно не обращал никакого внимания на просьбы племянника, стал его ругать, и бедный Рогунов бросил работу и горько заплакал. Такого рода сцены повторяются очень часто; — я не делаю в этих случаях никакого замечания родителям, потому что их не исправлю, а они за моё неудовольствие будут мстить ребятам, да, пожалуй, и пускать их ко мне не станут, что было бы для детей настоящим горем; они и в праздник готовы приходить в школу.

Вообще, я часто нахожусь в затруднительном положении, проповедуя дурным то, что в общепринятых мнениях между мужиками здешнего села совсем не предосудительно; например, можно ли без отвращения и скорби видеть, как мужик отправляет свою жену с малолетними детьми, в мороз, еле одетых и оборванных, нищенствовать по чужим деревням?.. Наш крестьянин вообще при словах «христа ради» никогда не отказывает, и нищенствующая семья часто совсем не бедна, и всегда возвращается домой с полными мешками хлеба. Случается даже и так, что имея скирды ещё не тронутыми, мужик всё-таки заложит телегу, посадит в неё семью, то есть жену и малолетних детей, и отправит их просить «христа ради» в отдалённые деревни, где их не знают; где-нибудь в лесу они привяжут лошадь да и отправятся просить, прикидываясь несчастными или сиротами беспомощными. Этого рода зло меня ужасно волнует, и я своим питомцам стараюсь кротко растолковать, до чего это грешно, но вижу, как часто бедняги находятся между двух огней.

с. 533

На днях Петька Саранский, один из очень бедных мальчиков, не явился на первый урок. «Его по миру послали, — сказал мне его товарищ, — жаль было Петьку, он идти ни за что не хотел, отец его даже больно приколотил; вот он взял маленького брата Тришку, да и отправился». Погода была ужасная, ветер с холодным дождём так и бил в окна, у меня сердце замирало с досады и жалости. «Петька напрасно довёл до того, что его отец прибил, надо бы ему тотчас отца послушаться», — сказала я, кажется, не с совершенно убеждающим голосом, потому что чувствовала в своей душе большое негодование. На второй урок, после часа, вдруг Петька открывает дверь, весь пунцовый, — так его задуло ветром, — и говорит: «Я по миру ходил!» — но таким отчаянным голосом и с такими горькими слезами, что мне его ещё более жаль стало; начала я его успокаивать, даже поцеловала, потому что не знала, как лучше утешить. — «Ничего, Петька, мой голубчик, ничего, — ты тут ни в чём не виноват, — повторяла я ему весело, — прежде всего надо слушаться отца, а вот когда вырастешь да сам будешь хозяин, так ты мои слова тогда помни и уж своих детей, когда дома хлеб есть, нищенствовать не посылай. Знай, что это грешно и дурно, а отцу твоему, пожалуй, с молода этого никто и не говорил». Одним словом, тронул меня этот мальчишка так, что я его искренних слёз и доброй рожицы долго не забуду!

5 мая.

с. 581

Не я одна люблюсь своими ребятами, не я одна поражена способностями нашего русского мужика, покуда он не испорчен, все отдаёт полную справедливость детям моей школы, и все,

кто видит их ближе, надивиться не могут, до какой степени в такое короткое время сделались заметны успехи и в умственном, и в нравственном отношении: поистине это невероятно!

Желая занять их чем-либо полезным после классов, остальную часть дня, я старалась найти какого-нибудь мастера, токаря или сапожника, который бы приходил давать им после обеда уроки: — мне это никак не удавалось. Все эти мастеровые ещё глупый народ, который не хочет и понять, что совсем не нужно мальчика брать непременно к себе на дом, да ещё и на несколько лет, чтобы его чему-нибудь выучить. Как я им ни толковала, что если мы выучиваемся музыке, рисованию и разным иностранным языкам, да мало ли чему ещё другому, уроками у проходящих по часам учителей, то и сапоги шить выучить под моим надзором было бы возможно, — если бы только за это дело взяться разумно: но, несмотря на все мои убеждения, я не могла заманить ни одного мастерового; взамен дельного занятия я вздумала устроить театр, — нашла одну сцену из народного быта Горбунова, потом — несколько сцен из Филатки и Мирошки, потом присочинила своего, приделала куплеты, хоры, танцы и начала учить мальчиков с помощью моего мужа и Елизаветы Васильевны; дети понимали всё чрезвычайно скоро. Мало того, что они стали играть прекрасно, но, не имея никакой привычки к тактной музыке, они даже скорёхонько почувствовали ритм, и забавные куплеты пелись ими с таким *шиком* или удалством, слова выговаривались так ясно, хоры шли так дружно и верно, что я своим ушам и глазам не верила. Можно ли было ожидать чего-нибудь подобного от крестьянских ребятишек, из которых старшему было не более четырнадцати лет? Я не знаю, чего бы нельзя было сделать с этими детьми, если бы только я имела возможность посвятить себя исключительно им одним? Они все играли и пели мило, вполне прилично, и вместе с тем вполне развязно. Не одна деревенская публика могла с удовольствием присутствовать при их представлении, мы и решились пригласить для этого наших соседей помещиков.

с. 582

Большая зала нашего дома, предназначенная прежним владельцем именно для театра, была у нас заперта, в ней ещё никогда не раздавались никакие музыкальные звуки... Её открыли впервые для крестьянских ребятишек: представление устраивалось с пляской и пением в собственную их пользу.

С костюмами суета была ужасная. Афишки переписывались с большим старанием; — мы послали в город П. разнести объявления к знакомым и подписали внизу, что они написаны девятилетним мальчиком. Это заинтересовало наших детей и подстрекнуло их соревнование. Иные объявления были написаны прекрасным почерком. Накануне представления послали некоторых мальчиков с афишами в руках к сельскому старосте, в контору, на наш винокурный завод, и ко многим другим, чтобы пригласить на праздник. Но дети, возвратившись, объявили нам, что большею частию все им ответили, что они знать не знают, что за театр, и мало им интересуются; сельский староста сказал, что если дети вынесут для мужиков хоть полведра вина, то тогда, пожалуй, они придут. Одним словом, одна только наша контора подала надежду на посещение, и мы очень мало рассчитывали на посторонних зрителей; однако человек 15 наших собственных гостей составляли уже публику, довольно значительную для деревенского театра, и я очень боялась, что все наши актёры и на репетиции оробеют и растеряются. Действительно, самый маленький мальчик, который под именем Колючки должен был плясать казачка в дурацкой острой шапке, что он исполнял очень забавно, вдруг на генеральной репетиции, при гостях и при полном освещении, объявляет нам, что ни за что в свете не выйдет на сцену. — Тут начались, разумеется, всякие уговоры, наконец мы его пресерьёзно уверяли, что после того, как объявления разосланы, бесчестно обманывать публику, что она имеет право за свои деньги требовать его появления. Тогда он закрывал лицо руками и ни за что не решался идти плясать с Дурашкой, которая была девочка ещё его моложе и играла роль Дурашки презабавно. Девочки вообще все были гораздо смелее и даже играли охотнее мальчиков. Наши убеждения, однако, подействовали на мальчугана: он вдруг решился, надел шапку и выскочил таким молодцом перед смотревшей публикой, что все расхохотались, стали ему хлопать, и он плясал с увлечением и азартом.

Исключая этой маленькой истории, репетиция сошла с рук совершенно благополучно, и я вполне успокоилась. На другой день поутру, узнав, что публики собирается довольно много, мы очень радовались и, желая ещё раз повторить с детьми пение, послали за ними гонцов, — все они тотчас же явились и с удивлением рассказывали нам, что не знают, что сделалось с Фёдей: он с утра плачет, говорит, что ни за что не будет играть, и хочет идти домой; а живёт он за восемь вёрст.

Фёдя самый большой ученик в школе, мальчик, исполненный таланта; играет и поёт он замечательно хорошо, даже рисует порядочно для крестьянского мальчика. Вообще — он очень

интересный, но некрасивый, широкоплечий парнишка; он исполнял главную роль и восхищал нас всех своей свободной и ловкой игрой.

— Где же он? — спрашиваю я мальчиков.

— Стоит под лестницей балкона и плачет, — отвечают мне.

— Федя, Федя, поди сюда, — кричу я, войдя на балкон, — что это с тобой? Зачем ты прячешься? Иди ко мне скорее!

Федя выполз из-под лестницы весь в слезах.

— Об чём проливаешь слёзы, Федя, скажи правду?

— Не знаю сам, — был ответ.

с. 583

— Тебя дома, верно, побранили или, может быть, отец не велит тебе играть, а ты этого сказать не хочешь?

— Нет-с, нет-с, ничего не говорили.

— Ну, так что ж?

— Тоска на душе, сам не знаю, от чего!

Тут началась моя мораль: я разбираю, как умела, его бестолковое грустное настроение, доказывала нелепость безотчётной тоски, — даже возвысила немного голос, уверяя, что глупо делать себе горе из удовольствия, что большому мальчику стыдно из пустяков проливать слёзы, и прочее. — Ничего не брало: он продолжал горько плакать и не уходил домой только из боязни меня рассердить. Я послала за мужем, который всегда призывается в важных случаях, и рассказала ему моё затруднительное положение; он взял Федю к себе в кабинет, начал его уговаривать, велел ему при себе умыться, обещал даже подарок, и мальчик совсем другим человеком воротился в театральную залу, — начал исполнять всё, что от него требовали, и очень скоро тоска его исчезла совершенно.

Вечером, в назначенный час, народ стал сходиться; его было гораздо более, чем мы ожидали, даже мест не доставало, и мы прибавляли стульев. Все сидели чинно и вполне прилично. Занавесь поднялась.

Сцена с возвышением представляла лес из живых елей, разложен был огонь (между дров горел спирт), стоял шалаш, и сначала три мальчика, а потом ещё двое разыграли сцену Горбунова так спокойно, так мило, что любо было слышать.

После этой сцены на возвышении поставили ширмы с драпировкой и стол, на котором появилась *живая карлица кукла*, то есть за столом стоял мальчик, его руки были обуты в чулки и красные башмаки, и он, положив эти руки на стол, как будто сидел: на плечи его накинуто было нарядное платье, в рукава которого просунуты были руки другого мальчика, спрятанного за драпировкой; живая кукла была в чепчике с цветами и фальшивыми буклями. Одним словом, всем знакомое лицо Митьки никто не узнавал в фигуре живой карлицы, которая пела, разговаривала, *чужими* руками держала лорнет и смотрела в него, поправляла свои волосы, потом, вскочив на ноги (то есть на руки), принялась плясать на одном месте, размахивая ногами вроде балетных танцовщиц, так уморительно, что вся публика помирала со смеху. Кукла эта произвела фурор!

Затем началась сцена *Филатка и Мирошка*, Филатку играл Федя и смешные свои куплеты выражал очень забавно. Эта сцена оканчивается тем, что дети собираются на базар: сперва идёт красивая двушка, известная в селе певунья, с своей матерью, и за ними — все остальные мальчики; каждый несёт в руках или на голове что-нибудь на базар, все поют хором, здороваются с Грушей и её матерью, потом просят Грушу спеть песню: интересно было слушать, как Груша хорошо пела, как явственно выговаривала слова; наконец, вся окружающая её кучка детей просит её спеть ещё что-нибудь, тогда она вызывает Филатку на перед сцены (а в пьесе представлено, что он к ней равнодушен), велит ему глядеть ей прямо в лицо и поёт, глядя на публику:

Девка молодая,
Больно удалая,
Когда парень к ней подходит,
Девка рассмеётся,

Девка рассмеётся,
А парню вздохнётся —
Сердце парня вдруг забьётся —
Девка отвернётся,

Девка отвернётся,
А парню неймётся:
Он за нею следом вьётся,
А девка дерётся.

При этих последних словах Груша очень ловко и забавно хлопала Филатку по носу и все громко хохотали. с. 584

Всё это разыгрывалось непринуждённо, весело и нравилось публике чрезвычайно: — в этой же сцене плясали и Колючка с Дурашкой, и наш спектакль окончился благополучно, к совершенному удовольствию и удивлению всего общества.

На другой день муж мой разделил кассу, смотря по достоинству и степени хлопот и трудов актёров: лучшим пришлось на долю около двух рублей серебром. Можно вообразить радость и ребят, и матерей!

* * *

Я писала выше, что мой любимец Анфимка был отчаянно болен; он ещё до болезни выучил довольно большую роль в сцене Горбунова, которую исполнял очень хорошо: — болезнь сильно развилась в нём за неделю или за две до представления. Это была горячка вроде тифозной, и страшно было смотреть, что случилось с ребёнком с первых же её признаков. Он лежал без памяти, исхудал до невероятия; сильнейшие боли в животе заставляли его метаться во все стороны. Жалость было видеть бедного мальчика в этой курной избёнке, душной, тёмной, где кричали и ребята, и ягнята; дым наполнял её до половины, так что я почти ни минуты не могла оставаться в ней. Дверь на двор, куда топилась печь, открывали с намерением. Анфимка лежал у самых дверей на какой-то мочалочной грязной подушке, прикрытый полушубком, в ужасных страданиях! Помощи — никакой! Мы с мужем пошли его проведать: входим в избу и мать нам говорит, что она насилу его уговорила проглотить *крутое яичко*. Крутое яичко! — выговорить даже страшно! По нашему совету ему приложили к икрам горчичники и дали некоторые домашние средства, — но милосердие Божие так же близко к этим бедным больным, как и к науке наших знаменитых учёных. Мальчику стало лучше.

Дня за четыре до представления мы с мужем опять видели Анфимку, это было после причастия: он нас узнал, был очень рад нашему посещению, но головы от слабости совсем ещё держать не мог, — и вот вдруг в день спектакля, в ужасно-холодную дождливую погоду, вечером, видим мы, входит Анфимка, еле держится на ногах, так слаб, а всё-таки при помощи товарища дотащился до нашего дома! Мы все так и ахнули от удивления! — «Как это тебя мать отпустила?» — был общий наш вопрос, но мальчик с полуулыбкой и слабым голосом говорил: «Что ж мать? — ведь мне уж больно скучно было!»

Однако на его бледном и худом лице и ещё более в больших от худобы глазах отражались ещё следы жестокой болезни, которую, несмотря на свою слабую на вид комплекцию, он вынес по милосердию Божию молодцом! Как же не подивиться, что, несмотря на отсутствие всякого пособия, даже всякого разумного совета, этот бедный люд борется и переносит такие сильные болезни, на которые смотреть со стороны даже страшно. Теперь Анфимка совершенно поправляется, и при какой пище! в постные дни — один чёрный хлеб с квасом, а в скоромные — тот же хлеб с квасом да молоко: не мудрено, что силы в таком случае возвращаются очень медленно; однако его неожиданный к нам визит, да ещё в такую дурную погоду, прошёл, слава Богу, без дурных последствий.

Многие удивляются покорности, с которою наши простолюдины переносят большие нравственные потрясения. Наблюдая за народом довольно близко, я не очень высоко ставлю их покорность; это не есть высокая христианская добродетель, заставляющая их подчиниться без ропота и безо всякого умствования воле Божией, — мне кажется, что они, просто вместе с невежеством, и в чувствах своих мало развиты. Например, дети почти всегда им в тягость, и редкая мать, — если только у ней несколько человек детей, а не один ребёнок, — при их болезнях не желает очень откровенно их смерти. Заметные и глубокие чувства между родителями и детьми очень редки в их быте и встречаются только в природах исключительных, необыкновенных, которые, конечно, никогда в общий разряд входить не могут. Скорей я удивляюсь их равнодушию в семейной жизни; недостаток и нужда в потребностях самых необходимых, грубое обоюдное обхождение между собою мне кажутся главными причинами их холодности, а иногда и жестокосердия. Откровенно говоря, я до сих пор с горестью замечала, что деньги и вино — два самые важнейшие двигателя в жизни наших Б. крестьян. С помощью денег можно с. 585

очень скоро утешить и вопиющую мать, после потери дитяти, и уговорить мужика на скверное дело. Надо предположить, и в этом я уверена, что русский народ не везде в таком жалком нравственном положении, и что наша местность несёт на себе грустные последствия её *былого*, тем не менее на нашу долю выпало грустное сознание, что много ещё пройдёт времени, прежде чем здесь старое дурное искоренится и выработается новое, хорошее, честное, христианское. Нравственные высокие наслаждения нашим крестьянам вовсе незнакомы: почти вся их жизнь — тяжкий материальный труд, не разумный, не облегчённый ни благосостоянием, ни довольством, и потом — грубые животные удовольствия, каковы пьянство и разгул. И где им было научиться лучшему? Человек живёт привычками и примерами, — то и другое укореняется вследствие учения и воспитания научного и наглядного. Бедные наши Б. мужики ничего подобного никогда не знали и не видали.

Один из моих учеников, а именно Петька Саранский, принадлежит очень бедному семейству, у него была одна сестра и два брата; сестра его часто к нам ходила, весёлая, черноглазая, проворная девочка лет четырнадцати. Меня заинтересовала её откровенная смышлёная рожица, а я, зная нужду всей семьи, особенно за это девочку эту полюбила. Бегала она обыкновенно в очень худеньком сарафане, вот и вздумалось мне её потешить. Не сказав ей ни слова, я купила хорошего ситцу, сшила нарядный сарафан и сама мысленно радовалась, как обрадую я бедную девочку к празднику Пасхи. Около этого времени занемогла она горячкой; слух о новом сарафане долетел до неё, и она в бреду всё твердила, как нарядила её барыня в новый сарафан и как этот сарафан у неё будто бы отнимают, и прочее, и прочее. Когда она приходила в себя, то просила мать скорей сплести ей новые лапти, которые, между прочим, здешние крестьяне величают названием *туфелек*, чтоб идти к барыне за сарафаном; но болезнь брала своё, тифозная горячка шла быстро к худшему; в Страстную пятницу девушку приобщали, после чего ей вдруг как будто сделалось лучше. В субботу я посылаю за матерью, чтобы отдать сарафан, та приходит. — «Ну, каково твоей девочке?» — спрашиваю я. — «Сегодня в первый раз попросила поесть, — отвечала она, — я ей чайку сделала, просвирочки покрошила и она *хорошоохонько* покушала». С неописанным удовольствием принимая из моих рук сарафан для дочки, невежественная баба и не воображала, что больной не суждено было даже и взглянуть на так горячо желанный наряд! Когда мать возвращалась от нас домой, на дороге встретил её сын и объявил, что девочка умерла. Я сама так была поражена этой внезапной смертью, что она у меня беспрестанно вертелась на уме. Хотя и не без слёз, но всё-таки с невероятным спокойствием та же мать стала хлопотать о похоронах, стала наряжать, разумеется, уж не в новый сарафан, свою хорошенькую бледно-восковую единственную дочь! На второй день праздника её похоронили, и разговоры об ней даже прекратились; посетила их дом смерть и прошла почти незаметно, как нечто самое обыкновенное. Часа два спустя Петька, который всегда, казалось мне, любил сестру, узнав, что ребятишки у нас катают яйца в большой зале, прибежал и веселился наравне со всеми другими. Во мне было к нему какое-то чувство сострадания и жалости, и хотелось мне взять его в сторону и поговорить, что такое чувство любви людей друг к другу, особенно к братьям и сёстрам! но потом раздумала — я сама не знаю, следует ли развивать в моих учениках то, что ещё совершенно непонятно в их среде?

* * *

Когда мальчик у меня что-нибудь светренничает, например, пропустит при переписке слово или в диктовке делает такую ошибку, которой не должен бы делать, я часто говорю: «значит — голова твоя не на плечах, а где-нибудь гуляет». Сегодня я при них, забывшись, запечатала в пакете вместе с письмом и деньги, и с досадой на себя должна была пакет распечатать. Рогунов, один из маленьких учеников, забавен тем, что хотя он и самый застенчивый из всех наших детей, но единственно он всегда со мной зашучивает. Если, например, он меня увидит на улице, то издали, указав пальцем и закрывая лицо обеими руками, кричит, передразнивая самых малых ребят: «балыня, балыня, вот балыня идёт!», и, глядя на меня исподлобья сквозь пальцы, строит всякие смешные мины. Он сидел возле меня, когда я запечатала ошибкой деньги, улыбнулся лукаво и, закрываясь, вдруг говорит пресмешным голосом: «И, у балыни-то голова не на плечах!» — «Правда, правда», — отвечала я смеясь, а он сам совсем растерялся от своей смелой выходки.

* * *

Какое счастье для меня и для детей, что Елизавета Васильевна так хорошо поняла свою обязанность в школе! Надо видеть, как все дети её любят, — этому никто научить и заставить

не может: только горячая душа любящего человека ведёт такое дело успешно, чего именно и достигла Елизавета Васильевна: на днях она уезжала на праздник Николы к сестре своей, вот в её отсутствие я и говорю девочкам: «Знаете, девочки, что вы можете сделать? Подите в оранжерею, выберите какие хотите деревья и цветы и уберите ими комнату Елизаветы Васильевны: она так любит растения, что это будет ей очень приятно». Надо было видеть, с какою радостью они бросились целовать мои руки, точно я собственно им сделала этот подарок. Они как-то раз в разговорах принялись преуморительно толковать, как они будут со временем сами открывать школы. У нас есть две девочки, одна побойчее, другая поуступчивее — обе Груши, и мы для различия называем их одну *большая* и другую — *маленькая*. «Вот уж обе Груши совсем готовы открывать свои школы, — говорила одна девочка, — большая будет *гласная*, а маленькая *согласная*». Право, совсем не глупо.

15 мая.

Третьего дня, в самое Вознесение, мы назначили по всеобщей просьбе повторение спектакля; ребяташки были чрезвычайно довольны сами и хлопотали обо всём с большим удовольствием. Только Федя, главный наш актёр, занемог, но одна из двух Груш скорёхонько выучила его роль и прекрасно его заменила и в пении, и в игре. Невозможно не смеяться, когда имеешь дело с этим мелким народом; например, меня вдруг спрашивают: «*А когда будет представление? После скотины?*» Разве это не оригинально? И точно, пригнав и убрав уже скотину, публика стала собираться: её на этот раз было ещё более, и ребяташки до представления были в каком-то лихорадочном состоянии. Они начинали входить в свои роли с большим смыслом и увлечением, и в них рождалась уже какая-то сознательная смелость. Муж мой стал их румянить, а Колючку разрисовал разными красками, чтобы он казался смешнее, и тем доставил ему совершенное удовольствие. На дворе было ещё светло, я и говорю ему: «Ты на балкон не выходи и не показывайся никому», — но он никак не вытерпел и выпросился выбежать на балкон хоть на минуточку. Прохожий мужик, увидя эту расписную рожицу, остановился в воротах да и глядит на него; тогда один из мальчиков самым повелительным голосом закричал ему: «Что, дядя, остановился? У нас здесь пёстрые ребята есть, хочешь посмотреть? Неси пятак, всего покажем!» Такого рода выходкам не было конца. Накануне спектакля была пресмешная сцена. Дети сидели в школе за уроком, который шёл довольно плохо, потому что их развлекали все приготовления, однако они много писали и читали по-очереди. Вот вижу я, что Митька, который должен был представлять куклу, вдруг схватился за глаз, причём всё его лицо точно подёрнулось на левую сторону, с этим он стал видимо бледнеть. — «Что у тебя болит?» — спрашиваю я его. — «Ужасно болит и глаз и голова», — отвечает мальчик. Но как я его ни уговаривала бросить писанье и идти домой, мальчик уверял, что пройдёт и всё перемогался; однако боль становилась сильнее, он припал головой на стол и начал плакать. Все нынешние жестокие горячки начинались такими же припадками, и мы с помощницей очень встревожились, послали за горчицей и налепили ему на затылок большой синапизм. Надо было видеть, с каким нетерпением он переносил эту незначительную боль. Ему горчичников никогда не ставили, и потому синапизм раздражал его до невероятия; ребёнок весь трясся, плакал, хотел горчицу сорвать, но мы до этого его не допускали; напротив, я начала его срамить и подсмеиваться, говоря, что его нетерпение непростительно, и доказывать, что он трусишка; я говорила, что наверно знаю, что боль от горчицы только немного щиплет и что её вынести ничего не стоит. Вероятно, говорю я ему, дома твоя мать сказала бы тебе: «Ну, брось эту дрянь, голубчик, я ведь тебя *жалею*, сними, если хочешь». При этих словах все бывшие в комнате разразились хохотом: так видно было, что я попала удачно на обычные слова матерей, и что они им были очень знакомы. Тогда один из них сказал: «А как же ты куколку-то представлять будешь?» — «Ребята, наша куколка от горчишника умирает», — подхватывал другой. — «Пооди домой, мой бедняга, — насмешливо говорил Рогунов, — *там тебе два крутеньких яичка* скушать дадут!» Все от души смеялись. Митька стал успокаиваться; наконец горчицу сняли и он со всеми вместе вышел из школы, при общем сожалении, что *куколка хворает*. Я велела ему сидеть дома и на второй урок совсем не приходить. Но не тут-то было, лишь собрались ребята — и Митька явился с весёлым лицом: «Куклолка ожила, куколка выздоровела!» — раздавалось весело между ребяташками со всех сторон, и точно, горчичник подействовал так благодатно, что головная боль у Митьки почти прошла, несмотря на остатки её, на другой день он представлял куклу очень удачно и произвёл общий восторг. Вообще всё представление сошло с рук самым

с. 588

благоприятным образом; когда был делёж кассы, детям пришлось кому 80 к., кому больше, кому менее, смотря по достоинству ролей, а некоторым пришлось принести домой более двух рублей; легко можно себе представить их восторг! Так как день дележа был не праздничный, то мы, по обыкновению, и вошли в классную на второй урок; час подходит, а их никого нет; мы с помощницей подождали ещё полчаса — всё никого. — «Где же это ребята? Никак совсем сошли с ума от радости?» — спрашиваю я Елизавету Васильевну. — «Уж не знаю что, — отвечает та, — они мне, кажется, готовят что-то и секретничают; я допрашивала некоторых, ни за что не говорят, все бегают, суетятся и теперь убежали на село». В эту минуту я увидела Алёшку. — «Что с вами? Что не приходите учиться?» — говорю я ему. Он вспыхнул и резко отвечал: «И мне надо туда идти». — «Да куда?» — «Не скажу-с», — и тут же пустился бежать. Ясно было, что ребята чем-то заняты, мы их оставили в покое, нам самим было интересно знать, что их собственные умишки, без нашего содействия, могли придумать и сочинить. Через несколько минут услышали мы: летит вся компания прямо в гостиную, где мы с мужем и Елизаветой Васильевной сидели; девочки подают мне курочку, мальчики мужу моему петушка, а Елизавете Васильевне корзинку с яйцами. Что было всего милее, то это то, что они разукрасили и петушка и курочку разноцветными лентами; особенно курочка так была красива, что её стоило срисовать. Большой красный бантик прикреплён был на самой спине, а на голове голубой, вроде кудрявого коченка; от него, скрестившись на спине, переходили ленты к лапкам и хвосту, где тоже были маленькие бантики, и все эти ленты несколько не мешали её движениям; у петушка красовался пунцовый бант на самом боку. Дети были сами в таком восхищении, что весело было на них смотреть; в ту же минуту они нам рассказали, у кого купили петуха и курицу, что заплатили, как торговались — один наперерыв другому передавали все подробности этого важного дела, и когда мы приняли их милый подарок, надо было видеть их общую радость. «Мы петушка купили да несём к вам, — сказал один из мальчиков, — а он в руках и запел: видно, и ему любо, что он к вам на житьё идёт». Добрые ребяташки!

17 мая.

Сегодня с моих учеников можно бы было срисовать премилую картинку; они все, мне на память, сажали по деревцу около того балкона, на котором мы иногда вместе с ними сидим и учимся. Вся моя мелкая команда отправилась сперва со мною в парк, каждый выбрал липку или берёзку, и надо было видеть, как они горячо работали и как старались пересадить деревцо сколь возможно бережно. Из едва распустившихся берёзок они все свили себе венки, надели их и с песнями каждый потащил с трудом выкопанное деревцо, потом вокруг балкона принялись рыть ямы, потом сажали, поливали и как муравьи копошились перед нами, — любо было на них смотреть!

1 сентября.

с. 589

Прошло почти три месяца, как дети не учились, — я вынуждена была закрыть школу на всё рабочее время, потому что они, за исключением самых маленьких, все были нужны на полевые работы, но это им не мешало частёхонько забегать ко мне, так только, чтоб повидаться, и, по правде сказать, они редко уходили без какого-нибудь угощения, особенно когда поспели горох, малина, крыжовник и другие ягоды. Я оделяла ими не одних школьных детей, но и всех приходивших из села ребяташек: тогда *мои* уже хозяйничали, и угощали последних с большим удовольствием. Случалось даже, что некоторые дети приходили и просто, откровенно просили позволения или поесть малинки, или *поворовать горошку*, — странное и неблагозвучное выражение, доказывающее, в какую привычку у них вошло его есть не иначе, как украденным. Вообще все ребята держали себя хорошо, даже, к моему большому удовольствию, наш сельский староста мне сознался, что на селе ребят вообще останавливают от шалостей, угрожая пожаловаться барыне. Я этим очень довольна, потому что скверные замашки здешних ребяташек были всем в тягость, и что не строгостью и не наказаниями добилась я их уважения и доверия. Если случалась мне необходимость показать кому-нибудь из виновных, что я им недовольна, то я наказывала его только равнодушием или холодностью, я проходила мимо его с самой важной осанкой, держа голову свысока; и право, мне самой смешно, от чего грубые мужики и дети этих грубых мужиков так чувствуют и понимают такой слабый, безобидный, можно сказать, оттенок

неудовольствия! Не доказывает ли это, что в русском народе таятся зародыши возвышенные, которые не развиваются по причине обстановки, которая их стесняет и губит?

Когда эти три месяца прошли, я опять открыла свою школу, — пригласила священника, отслужили молебен, обновили тетради, книги, и мы все с большим удовольствием принялись за уроки. Любо было глядеть, как некоторые из детей писали уже хорошо: от грубой полевой работы, которою они занимались всё лето, их маленькие ручонки не огрубели и лучше чем прежде выделявали самые грациозные буквы. Уроки пошли сразу очень хорошо. Прибыло несколько новых учеников, но девочек вообще неохотно отдают в школы; крестьяне ещё твёрдо держатся странного убеждения, что грамотная девка пожелает уйти в монастырь, что до сих пор часто случалось, и противу чего я, конечно, громко встаю. Я предполагаю даже, что в этих примерах — одна из главных причин, почему сельские общества не желают, чтобы девочки учились грамоте. Так как все мои увещания на этот счёт остались без успеха, то при выходе девочек, окончивших своё учение, я их замещаю мальчиками.

Как смешны и забавны бывают иногда эти ребятишки — это просто потеха! Например, сегодня вновь принятый мальчик, лет семи, сидел возле меня, и я, видя, что у него нос нечист, говорю: «Фу! Какой ты нечистый, *поди*, утри нос». — «А куда идти?» — спрашивает мальчик самым серьёзным голосом. — «Ну, куда хочешь, хоть на террасу». — «*Я хочу здесь*», — отвечал он мне очень смело, и за этим не замедлил утереть нос рукавом. Этот ребёнок мне кажется чрезвычайно симпатичным; у нас ещё не было такого развязного, он учится очень прилежно, и так сам бывает доволен, когда что-нибудь прочтёт или напишет порядочно!

18 сентября.

Вчера мы очень хорошо отпраздновали день моих именин. Уже давно я замечала, что ребятишки хлопочут с Елизаветой Васильевной и от меня секретничают; я, конечно, тотчас же догадалась и стала к ним приставать, чтоб они мне сказали, что они у помощницы делают? Это их ужасно забавляло, они пересмеивались и уверяли, что ни за что не скажут; тогда я им объявила, что хотела их звать всех к себе на именины, чтоб угостить хорошенько, а так как они мне правды не говорят, так я их и звать не буду. — «Ничего-с, — кричали все они в один голос, — мы лучше без угощения останемся, а всё-таки не скажем». Так прошло у нас несколько дней, в которые, конечно, они убедились, что с моей стороны всё это была шутка и что я подозреваю, с большим удовольствием, тот сюрприз, который они готовят мне. Наконец вчера поутру, лишь я вышла из своей спальни, явилась вся моя команда, и двое, самые меньшие ученики, вели за ленточки двух крошечных барашков, украшенных цветами. — Барашки были белые, чистые, расчёсанные, совсем не дичились, щипали один у другого цветы, и ребят это чрезвычайно забавляло. Тут же они мне объявили, что приготовили ещё сюрприз, который я узнаю только вечером. А я уже пригласила заранее не только всю свою школу, но ещё несколько ребят из села к себе на обед, и их всех было счётом более 50-ти. На дворе поставлены были две качели, а в театральной зале накрыты скатертью столы с рюмками и стаканами, ножами и вилками, и даже между большими букетами стоял десерт, то есть орехи, пряники, яблоки и малиновая наливка; всё это приводило ребят в восторг. Блюда же с кушаньями стояли на отдельном столе. Четверо из старших и расторопных школьных мальчиков, повязав через плечо полотенцы, угощали всю компанию. Любо было глядеть, как ловко они исполняли свою должность, как учили действовать вилками и ножами, и вообще, как чинно и прилично кушал весь этот мелкий крестьянский люд. После сладкого пирога с яблоками им всем налили наливки в маленькие рюмочки, провозгласили моё здоровье, и все закричали оглушительное *ура!* Это — ура ужасно им нравилось. Мне сказывали, что один мальчик, возвратясь домой, рассказывал своим, что он тоже кричал *караул...* и что это очень весело. После наливки все побежали на качели, а пока убрали со стола посуду и приготовили десерт, дети возвратились в комнаты по звонку, я сама им раздала сладости и опять отпустила на качели, — потом приготовлен был чай с молоком и бубликами, которого они пили, сколько душе угодно. Тут стало уж темнеть. Дети принялись готовить свой сюрприз, а я с ними распростилась, но в скором времени меня позвали в залу; у нас были гости и мы всем обществом пошли в театральную залу, где увидели на возвышении живую картину. Две маленькие девочки, при ярком освещении множества разноцветных фонарей, сделанных нашими ребятишками, держали мой вензель с надписью: *да вознаградит за всё вас Бог!* и эту надпись сочинил Федя, один из учеников. Всякий бы согласился со мною, что это было мило, и мне тем более приятно, что фонарики были

и чисто, и аккуратно сделаны, что тоже для крестьянских детей довольно трудное дело. Погодя немного, отдёрнулась занавесь и мы увидали чрезвычайно оригинальную картину, которую придумала и сочинила Елизавета Васильевна: картина чрезвычайно хорошо удалась. На сцене стоял большой длинный стол, покрытый скатертью до полу; за столом сидел король-людоед, в короне и царской мантии, и при хорошем освещении пировал с своими гостями, а на столе на белых блюдах, искусно склеенных из бумаги, видны были головы всех сидевших под столом ребятишек в разных позах, с разными экспрессиями и гримасами, с разнообразно зачёсанными волосами; у иных волосы были связаны в пучок большим бантом, у кого язык высунут, у кого все зубы видны, у кого рот раскрыт, — и все они были без малейшего движения: король-людоед и гости с жадностью и забавным зверством поглядывали на лакомые блюда. Дети очень хорошо поняли, что такое живая картина, которую никогда прежде и не видывали, и исполнили свои роли отлично. Спасибо и помощнице, что она так хорошо сумела это всё устроить. После представления мы разошлись все предовольные. Надо было видеть, как искусно были вырезаны буквы для надписи над моим вензелем, как красиво и тщательно были наклеены эти буквы: даже невероятно, чтобы над ними трудились мужицкие дети, — просто прелесть!

25 марта.

с. 591

Сегодня дети катали яйца в столовой, в большой компании, что их очень забавляет. Я вошла в столовую, а Анфим говорит мне, лукаво улыбаясь: «Ваше превосходительство, прислушайте, пожалуйста, что рассказывает Ваня», — а Ваня сын нашего конторщика, мальчик лет уже 14 — «он говорит, что кит такая большая рыба, что и корабли глотает как мух». С этими словами все мои мальчишки разразились таким громким смехом, что Ваня совсем оробел и спрятался за печку. Смешно было видеть, как им уж из рук вон показались глупыми уверения Вани.

* * *

Не могу я ещё привыкнуть к необыкновенным способностям нашего народа: что это за драгоценные дарования, если только их направить как следует!

С моими ребятами, вначале, мне всего было труднее приучить их *думать* о деле, которым они заняты, и вообще рассуждать о всём их окружающем, а не сидеть за уроком истуканами. Бестолковые примеры грамотных родителей, которые читают, может быть, и с хорошими намерениями, но как-то машинально, безотчётно, приучили их делать то же, и я принуждена была строго за этим следить. Как только дети поняли, чего я от них требую, то есть начали вникать в смысл книги, то заметно пристрастились к чтению. История Колумба, Робинзона, Сельцо Лебяжье их до того завлекают, что мне нет никакой возможности удовлетворить их: более трёх или четырёх страниц зараз они со мною никак читать не могут, и часто приходится за недостатком времени ожидать своей очереди до другого дня, — надо видеть тогда, какое это горе! Если бы я была на это вызвана необходимостью, то могла бы обратить это в самое строгое наказание, в котором, впрочем, благодаря Бога, мне до сих пор нужды ещё ни разу не встретилось. Иногда случается мужу моему, после окончания класса, взять книгу и читать что-нибудь детям громко. Все ребятишки тогда крепко примкнув один к другому, окружают его, все слушают с таким вниманием, с таким удовольствием, их милые рожицы так быстро принимают впечатления слушаемого рассказа, что, по правде, на эту картину не полюбоваться невозможно, и сердце моё радуется при мысли, что это те самые дети, которые только год тому назад, бывало, мне говорили: «Где нам понять, что вы читаете, ещё мы не привыкли!» А тогда я им читала то, что и трёхлетний ребёнок мог бы легко понять!

* * *

Прилагаю копии с некоторых писем и сочинений моих учеников, не изменяя в них ни одного слова: в иных были орфографические ошибки, а во многих и их не было.

«Ваше Превосходительство,
Н. Ф.

Раз я встал рано утром, собрался за грибами; лукошечко повесил на плечо, выхожу на улицу и слышу: соловей прекрасно поёт! Другие разные птички, и те тоже поют хорошо! День был чудесный! Солнышко так хорошо светило!

Я иду, дорогой мне попадаете мужик с решетом, обшитым сетью, — он меня спрашивает: «Дома ли господа?» Я ему говорю: «Дома». Он мне говорит: «Пойдём со мной, я им соловья несу». Пошли... Подходим к английскому саду, а там соловьи поют! Так поют! Тот, что был в решете, стал

трепескаться... а на сети была дырочка, он просунул голову... трепескнулся... прорвал и вылетел! Мужик так осердился, что на себе волосы рвал, а я так был этому рад!

Ученик ваш
Андрей Иконников».

«Шёл я после уроков к пруду, вижу — там ребятишки играют, подхожу к ним, да и говорю: «Что вы бегаєте по пруду? Ведь он ещё не замёрз, — ну, как провалитесь? Кто вас из пруда вытаскивать будет? Ведь мужику вы не нужны; — сидите вы лучше дома да читайте, тогда и сапоги не бьются, и отцу да матери любо!»

Ученик ваш
Николай Тряхалов».

«Иду я домой, а мне в встречу бежит волк! У меня на голове волосы встали от страха! Я насили опомнился! А тут собака подбежала и стала его гонять, я и обрадовался и побёг к скотному двору, а мужики, что столбы чистят, мне говорят: «Не видал ли ты нашу собачонку?» Я говорю: «Она там, на волка лает, то побежит к лесу-то, то назад». Они и пошли к лесу, стали манить Серку — Серка, Серка, на, на! А Серки нет — волк утащил! Вот они и говорят: «Эх! лучше бы было не ходить — жаль её!»

Эринарх Рогунов».

«Ваше Превосходительство,
Надежда Фёдоровна.

Встал я рано, пошёл на улицу — вышел, и показалось мне на небе два столба — один красный, а другой жёлтый! Я глядел, да и прозяб и пошёл в избу; там взлез на печь, нагрелся, лежал, лежал, да и захрапел... Сплю, и видится мне сон: будто я падаю... Падаю, наконец и упал на землю! Тут я проснулся, стал рассказывать свой сон тятеньке, а он говорит: «Ступай лучше учиться». Я скоро оделся и пошёл в школу.

Иван Тряхалов».

«Ваше Превосходительство,
Надежда Фёдоровна.

Меня мать моя не пустила учиться! Я от скуки точно пустой человек стал; ребята зовут гулять, в шар играть, а я говорю: «Нет, не пойду, у меня не то на разуме», — так я с ними и не пошёл, а гонял все эти дни лошадей на машине. Вот сегодня хотел к товарищам зайти, а они на пруд ушли, и я пошёл на пруд поиграть и вижу, Василий Санатов бежит и кричит: «Дормидонт! После обеда иди учиться, барыня с твоей матерью переговорила», а я говорю: «Врёшь», а он говорит: «Сама барыня зовёт!» Я так обрадовался, инда у меня всё внутреннее поворотилось, я побёг скорее в избу, вымылся и с Эринархом и Егором явился в школу!

Дормидонт».

Это письмо меня тронуло; его писал очень умный мальчик, с необыкновенным талантом к театру, — он так играет, что поистине его смело можно было бы показывать и на действительной сцене, перед опытной публикой. Он не только верен в интонации, но до того хорош в движениях, что, глядя на него, совершенно забываешь, что это 12-летний ребёнок, да ещё и крестьянский. В одной пьесе он играл старого колдуна мельника, — ему сделали бороду и парик, и несмотря на то, что по росту он казался карликом, что пьеса шла в течение двух: часов, — во всех своих движениях и приёмах он был старик и не вышел из своей роли ни на минуту. Столько было юмору в выражении его слов, что вся публика не переставала аплодировать и хохотала чистосердечно, что нисколько не смущало мальчика, продолжавшего лукаво поверять публике, как он глупых мужиков надувает и как за это получает от них деньги и вино.

* * *

Прошла святая неделя, и дети пришли ко мне, кто за бумагой, чтобы писать дома, кто за книгой. Книги я позволяю им брать к себе на дом с тем, однако, чтобы они расписывались, который какую берёт, с правом обменять по прочтении на другую. Они прибегают ко мне с особым удовольствием, и я всегда с ними вступаю в разговоры. Поздоровавшись, я их дружески спросила: «Ну, ребятишки, — расскажите-ка мне, как провели вы праздники, кто что сделал глупого, покайся!» Все очень твёрдо на этот раз отвечали, что вся неделя сошла благополучно.

Только Митька, краснея и закрываясь рукою, сознался, что проиграл в орлянку пятак меди. Разумеется, что я постаралась ему растолковать, как это для него опасно, как он может легко этою страстью завлечься впоследствии; «как ваши матери, — прибавила я, — допускают вас

с. 592

с. 593

до игры в деньги в ваши года!» — «Да ведь мы матерям, не то что вам, правды не сказываем», — прибавил мальчик. — «Да где ты взял пятак?» — «С церковной крыши сшиб». — «Как так?» — «Парни играли в орлянку у церкви, Алёха Старостин швырнул пятак, а он на крыше и засел, да и другой ещё мужик кидал, и его пятак засел. Когда они играть покончили, мы с Дормидоном стали на крышу камешки закидывать, да оба пятака и сшибли». — «Да разве это ваши пятаки были, что вы их в свой карман положили? Разве вам не следовало их тотчас же отнести и отдать по принадлежности?» — «Они сказали, уходя, что кто из ребят сшибёт их, тот себе взять может».

— И Дормидонт свой проиграл, и я проиграл... — прибавил Митька с видимым сожалением.

— Что это, Митька, от чего это, как ты думаешь, человеку так часто хочется делать дурно?

— Уж и сам не знаю, от чего это, — отвечал мальчик, а правда, где видишь много хорошего лежит, так и думается: как бы всё это себе взять!

Тут принялась я, как умела, толковать об искушениях и твёрдости нашей воли.

— Скажи правду, — сказала я ласково, ты воровал что-нибудь в деревне?

— Воровал, — отвечал мальчик в смущении.

— Как это было — расскажи.

— К нам в деревню коробочник пришёл, товар разложил, бабы его обступили; он-то с ними баит, а я подметил веретёнцо, — стянул, да и прочь: как отошёл, так стыдно стало, то есть совестно, показать никому не смел, я его и швырнул в траву глубокую.

— Что ж, там и оставил?

— Нет, на другой день жалко стало, взял веретёнцо, снёс матери, сказал, что нашёл.

Много у меня с ним было после этого разговору, во время которого мальчик стоял и слушал с таким вниманием и так стыдился, точно он сделал дурной поступок сейчас. В этом ребёнке есть странное побуждение к дурному, но, кажется, никто из детей легче его в этом не сознаётся, и его правдивость меня всегда утешала; не знаю, что из него выйдет, а очень умный мальчик и занимается с большою охотою.